

ПАМЯТЬ, ГЕНДЕР И МОЛЧАНИЕ: УСТНАЯ ИСТОРИЯ В (ПОСТ-)СОВЕТСКОЙ РОССИИ И ПРИЗРАЧНАЯ ГРАНЬ МЕЖДУ ПУБЛИЧНЫМ И ПРИВАТНЫМ

Аника Вальке

Аника Вальке, Ph.D. факультета истории сознания Калифорнийского университета в Санта Крузе США. Адрес для переписки: до августа 2011 года: History of Consciousness Dept., UC Santa Cruz, 1156 High Street, Santa Cruz, CA 95064, USA; начиная с августа 2011 года: International and Area Studies Program, Washington University, One Brookings Drive, St. Louis, MO 63130, USA. anika.walke@gmail.com.

Статья основана на докладе, представленном на конференции «Русское поле – взгляд из-за рубежа» в мае 2009 года в Санкт-Петербурге. Выражаю благодарность Елене Богдановой, Анне Темкиной, Виктору Воронкову и двум анонимным рецензентам за полезные комментарии к предыдущим вариантам статьи.

I

В течение многих лет я проводила биографические интервью с еврейскими женщинами и мужчинами, пережившими немецкую оккупацию и геноцид в годы Великой Отечественной войны. Целью интервью было узнать, что помогло этим людям выжить и как они жили в советском обществе после войны. Мои собеседники неоднократно просили, чтобы я выключила диктофон или стерла часть их рассказа. В этой статье мне хотелось бы вернуться к тем «вычеркнутым» или оставшимся за пределами диктофонной записи эпизодам и подвергнуть их разностороннему анализу.

Случаи нарушенного и умышленного молчания – такие, которые имели место в процессе моего исследования, – исключительно информативны, поскольку показывают, во-первых, как представления о приватном и публичном проблематизируются в момент интервью, и, во-вторых – как эти представления действуют на позиционирование обоих участников беседы. Наконец, в-третьих,

эти же случаи умолчания в интервью заставляют задуматься о том, какое место в системах публичного и частного занимает интеракция интервью, как публичный дискурс влияет на частную сферу и каким образом детерминирует само понимание частного.

Эти три уровня сложности метода устной истории с очевидностью проявляются в рассказах женщин о войне, затрагивающих гендерную субъектность. Наиболее отчетливо «проблемные» темы обозначаются, когда женщины принимают решение *не* говорить о них публично. Такие случаи в очередной раз свидетельствуют и о том, что метод устной истории позволяет узнать о существовании альтернативной, малоизвестной истории, и о том, что нарративы являются отражением культуры, предоставляют информацию не только о прошлом, но и о том современном контексте, в котором артикулируется рассказ о прошлом.

Дилемма между соблюдением исследовательской этики и полноценным анализом материала неизбежно возникает, если мы пытаемся раскрыть маргинализированную историю. В настоящей статье мне хотелось бы предложить некоторые объяснения того, как именно границы и пересечения между публичным и частным и этические проблемы, возникающие в ходе интервью, проявляются в случаях молчания об опытах гендерного субъекта (*gendered subject*).

В своей работе я опираюсь на материалы дискуссий о методе устной истории, на результаты феминистских исследований и, опираясь на собственные полевые материалы, рассматриваю, как происходит отделение частного от публичного и какую роль в формировании субъекта играет тот или иной идеологический контекст (Scott 1991: 779). Исследование построено на материалах интервью, собранных в начале 2000-х гг. в Санкт-Петербурге и Минске, при этом все мои информанты большую часть своей жизни прожили в советском обществе. В связи с этим в статье я считаю важным обратить внимание и на то, как особенности культурного контекста (в том числе советского) воздействуют на нарратив.

В настоящей статье нет детального анализа отдельных биографических интервью; я также не претендую на последнее слово в дискуссии о пользе применения метода устной истории или о вопросах этики полевых исследований. Мои наблюдения основаны на внимательном чтении интервью, и, прежде всего, мне хотелось бы указать на важные для последующих исследований вопросы и высказать некоторые предположения о том, как можно работать с материалами такого рода.

II

В 2000 году я приехала в Санкт-Петербург на год по студенческой программе обмена. Условия программы позволяли мне работать волонтером в Северо-западной общественной организации бывших узников фашистских концлагерей и гетто¹. Спустя несколько месяцев я решила взять интервью у людей, с которыми познакомилась в процессе работы. Членами данной организации являются люди, пережившие фашистский геноцид в ходе Второй Мировой войны. В на-

¹ Современное название: «Северо-Западная межрегиональная общественная организация евреев-инвалидов – бывших узников фашистских концлагерей и гетто».

чале своей работы я не очень много знала о том, в каком положении оказались советские евреи во время немецкой оккупации 1941–1944 годов, об акциях массового истребления, жертвами которых были родные, друзья, соседи моих собеседников. Мне также не были знакомы истории жизни людей, переживших геноцид в послевоенном СССР. В исследовании мне было важно узнать, как мои информанты воспринимали то, что произошло во время войны, как им удалось выжить и какой отпечаток наложил на их послевоенную жизнь опыт пережитого насилия.

Необходимо отметить, что я начала свое исследование в тот момент, когда последствия прошлого стали пониматься и интерпретироваться как важнейшие социальные и политические ресурсы. Я познакомилась с моими информантами в период между 55 и 60 годовщинами окончания Второй Мировой войны. Это было время бурных дебатов об общественной ответственности за прошлое, особенно в Германии. Процессы постсоветской трансформации также сыграли свою роль. В годы холодной войны и «железного занавеса» я вряд ли смогла бы свободно приехать в Санкт-Петербург и Минск. Кроме того, к началу 2000-х годов российский публичный дискурс уже был в достаточной степени развит и способен воспринимать альтернативные версии истории – в том числе, истории Великой Отечественной войны². Таким образом, моя работа с людьми, пережившими оккупацию, и сам факт того, что это исследование было проведено, изначально тесно связаны с трансформацией представлений о публичном в постсоветском обществе.

На протяжении почти десяти лет я периодически навещала моих информантов. Вместе мы работали над текстом книги (Walke 2007). Естественно, отношения, которые выстраивались между нами, вышли далеко за рамки интеракции «информант – интервьюер». Дафне Патая пишет о таких случаях: «...когда мы собираем продолжительные личностные нарративы, развивается интимность, которая делает неочевидным разграничение между “исследованием” и “личными отношениями”» (Patai 1991: 42). Возможно, поэтому в ходе наших встреч постоянно проблематизировалась граница между приватным и публичным, что усложняло исследование, но при этом давало бесценный материал для размышлений.

В большинстве случаев я беседовала с информантами у них дома, что придавало нашей коммуникации определенные особенности. Мои визиты и интерес к их жизни всегда были нагружены для них большим количеством смыслов. Мое общение с информантами не ограничивалось формальными рамками интервью, записанного на диктофон. Помимо обсуждения вопросов, предусмотренных путеводителем, я получала дополнительную информацию, наблюдая за поведением моих информантов, поддерживая обычную для гостя и хозяина коммуникацию, принимая участие в семейных обедах, чаепитиях. Некоторые темы обсуждались только в неформальной обстановке, вне рамок интервью.

Иногда эти неформальные рассказы оказывались тесно связаны с официальной версией истории. Такая связь, например, обнаруживалась, когда мои собесед-

² Начиная с 1999 года люди, которые во время войны находились в Германии на принудительных работах, стали подавать жалобы в суд, требуя от немецких предприятий возмещения ущерба. Исторический и социополитический контекст, в котором проводилось полевое исследование, подробно обсуждается в статье Walke 2009.

ницы обращались ко мне как к немке и просили меня объяснить политику выплаты компенсаций жертвам нацизма или ответить, как стало возможным такое явление, как нацистский геноцид. Это свидетельствует о том, что для моих собеседников события многолетней давности еще не ушли в прошлое, до сих пор влияют на их жизнь и мысли, а публичная история и приватное пространство «неформальных» бесед имеют пересечения.

Включенность индивидов в общественный дискурс проявлялась, когда мои информанты начинали откровенно критиковать и оспаривать официальную версию советской памяти о войне. В частности, подчеркивалось, что в советском официальном дискурсе, освещающем события Великой Отечественной войны, не уделялось достаточного внимания их опыту жизни в гетто, принудительному труду, массовым убийствам еврейских граждан, а также сопротивлению немецкому террору со стороны еврейского населения. Подобные процессы маргинализации памяти рассмотрены в ряде работ (см., например: Чарный 1997; Gitelman 1997; Редлих 2000; Altshuler 2002), и здесь я не буду подробно останавливаться на этой теме. Вместо этого я хочу обратить внимание на случаи, указывающие на одну из сложностей метода устной истории: случаи, когда понимание границы между приватным и публичным оказывает влияние на изложение событий. Я полагаю, что именно такие случаи маркируются просьбами выключить диктофон, или каким-либо другим способом исключить отдельные эпизоды из рассказа о своей жизни.

Мои размышления в значительной степени основаны на одном интервью, в ходе которого из нарратива оказались исключены такие темы, как гендер, сексуальность и насилие. Подобные умолчания были зафиксированы мной и в других интервью. Мои наблюдения не являются открытием и в целом вписываются в научные дискуссии о женщинах на войне, гендере и насилии (в том числе сексуальном), гендере и памяти, повседневной жизни женщины, женском здоровье и субъектности/agency (Katz and Ringelheim 1983; Ringelheim 1985; Goldenberg 1990; Rittner and Roth 1993; Lentin 1997; Hedgepeth et al. 2010).

Дополнительным мотивом для выбора в качестве предмета анализа просьбы одной из моих информанток (не записывать фрагмент разговора на диктофон) было мое феминистское убеждение в том, что целью исследований должно становиться изменение социальной действительности. В статье мне хотелось бы показать, что подобные случаи замалчивания произрастают из действующих в обществе властных отношений, от которых чаще всего страдают обычные люди. Чтобы сохранить и передать содержание просьбы и при этом соблюсти конфиденциальность, я не буду указывать настоящие имя и фамилию моей собеседницы, а воспользуюсь псевдонимом Евгения.

III

Воспоминания моих информантов о молодости часто воспроизводят актуальные для 1930-х годов ожидания светлого будущего, которые тесно связываются с советским проектом создания общества на основе идей интернационализма, социализма и атеизма. Сложно отрицать, что этот проект проваливался в первую

очередь из-за внутренних противоречий. В то же время нельзя не признать, что нацистская оккупация разрушительно повлияла как на советское общество, так и на советский проект. Нацистская политика угнетения и уничтожения прямо или косвенно коснулась всех. Однако такое явление, как коллаборационизм советских граждан (сотрудничество их с оккупационным режимом) указывает на неустойчивость и утопичность идеальной модели советского народа, сплоченность которого не должна была зависеть от национальностей. В интервью мои информанты описывают жизнь в гетто, принудительный труд и систематические расстрелы евреев, фиксируя тем самым тот факт, что их положение на оккупированных территориях отличалось от положения граждан нееврейской национальности. Их рассказы свидетельствуют, что реакция нееврейского населения оккупированных территорий на геноцид евреев могла быть разной. В то время как одни пытались помочь евреям и даже оказывали содействие в организации побегов из гетто, другие – иногда бывшие соседи – участвовали в грабежах или массовых убийствах евреев.

Некоторым узникам удавалось бежать из гетто. Впоследствии многие из них попадали в партизанские отряды и оставались там до момента освобождения от фашистской оккупации. Именно такую историю рассказала Евгения. Она подробно комментировала свое решение вступить в партизанский отряд, мотивированное желанием отомстить за насилие, совершенное фашистами над ее семьей, друзьями, соседями и знакомыми. Она рассказывала о страхе и трудностях, с которыми столкнулась, когда жила в лесу с партизанами, о том, как безжалостно боролись против партизан немецкие войска. Во время рассказа отдельной темой стали взаимоотношения партизан внутри отряда, в особенности ее дружба с некоторыми женщинами. Когда речь зашла об интимных отношениях между женщинами и мужчинами в партизанском отряде и о том, какой опыт взаимоотношений с мужчинами в отряде был лично у нее, она попросила меня выключить диктофон.

Другая моя информантка – назовем ее Беллой – подобным же образом обошлась с темой взаимоотношений мужчин и женщин в партизанском отряде. В конце интервью она рассказала о том, что после войны долгое время скрывала факт своего пребывания среди партизан. В ответ на мой вопрос «почему?» она объяснила: «Потому что считалось, что девушка, которая попадает в армию или в партизанский отряд, уже не девушка. И я не хотела, чтобы, не дай Бог, подумали, что я уже не девушка». Иными словами, ее опасения были связаны с тем, что распространенные стереотипы об отношениях между полами в партизанских отрядах могли задеть ее честь. Белла не хотела, чтобы кто-то мог подумать, будто она вступила во внебрачные интимные отношения и потеряла девственность в 15 лет. Так женщина на протяжении многих лет сознательно умалчивала о целом этапе своей жизни. По ее словам, только в 1980-х годах она почувствовала себя свободной от возможных обвинений.

И пожелание изъять часть рассказа из диктофонной записи, и многолетнее умалчивание о пережитом являются показательными образцами *сознательного* молчания, которое характерно для отчетов о прошлом, в том числе – исторических описаний, затрагивающих тему женщины на войне. Участие в войне женщин на

протяжении долгого времени не находило полноценного признания ни в советской историографии, ни в официальной версии памяти о войне (Алексиевич 1988; Fieseler 2002; Edele 2008: 73 и посл.). Эти образцы молчания также отчасти спровоцированы историографией нацистского геноцида, поскольку женский военный опыт, темы сексуальности и интимности или сексуального насилия никак не освещались на протяжении многих послевоенных десятилетий (Ringelheim 1985; Ritter and Roth 1993).

IV

Итак, собеседница попросила меня выключить диктофон во время интервью. Отношения между женщинами и мужчинами показались Евгении слишком деликатной темой. В основном женщины в отряде были очень молодые, им было от 15 до 18 лет. Немного старше была жена одного из офицеров – Тамара. Опыта в отношениях с мужчинами практически ни у кого еще не было. Родственников, которые могли бы что-то посоветовать или объяснить, Евгения потеряла, как и большинство девушек, состоявших в отряде. Поэтому на долю Тамары выпала очень важная роль старшей подруги. В частности, она предостерегала девушек, призывала быть осмотровыми, говорила о том, что они должны хорошо подумать, прежде чем заводить отношения с кем-то из мужчин в отряде, поскольку с последствиями, скорее всего, им придется справляться одним. В подтверждение реальности «опасности» Евгения рассказала о случае, когда одна девушка забеременела, ее прогнали из отряда, а отец ребенка не заботился ни о ней, ни о младенце.

Евгения рассказывала о том, что старалась сторониться таких отношений и вспоминала, как ей пришлось отказать одному навязчивому парню:

Я ему сказала: “Я пришла девчонкой в партизаны, и так и выйду”. Тогда он сказал, что мы все равно все погибнем. Я: “Ну что, тогда погибну девчонкой”. Он: “А тогда нету птиц над могилой”. – “Пусть будет так”. И все, он оставил меня в покое.

Даже при поверхностном анализе интервью очевидно противоречие: с одной стороны, Евгения содействует распространению исторического знания об участии евреев, в частности, еврейских женщин, сумевших бежать из гетто, в партизанской борьбе; одновременно с этим, исключая из нарратива подробности отношений между полами в партизанском отряде, она воспроизводит практику маргинализации особой истории. Здесь вытесняется информация о том, что женщин исключали из партизанских отрядов из-за беременности, а также о случаях сексуальных домогательств партизан-мужчин. При столкновении с таким противоречием у меня возникают вопросы о причинах просьбы моей собеседницы: почему она не хочет, чтобы соответствующая информация была включена в публичное знание? Почему она готова делиться знанием о своем опыте со мной в приватной обстановке, но не с широкой аудиторией?

Рассмотрим еще раз основные особенности метода устной истории, чтобы разобраться в том, что провоцирует молчание. Взаимодействие, происходящее в

рамках интервью, предполагает выстраивание отношений между информантом и исследователем, но не только. Оно по необходимости учитывает причастность обоих участников коммуникации к более широким сообществам. Например, в случае моего исследования интервью воспроизводило исторические отношения между моими информантами и мной как представителями сообществ «жертв» и «преступников». Существуют различные исторические версии распределения ролей во Второй Мировой войне, однако информантами в качестве основного параметра, определяющего сообщество виновных, использовался факт нападения немецких войск на Советский Союз в 1941 году³.

Интервью устанавливает как бы полупубличный режим коммуникации, и оба собеседника знают об этом. Как подчеркивает Томас Трizaйс, исследователь «слушает не только для того, чтобы узнать самому, но и для того, чтобы рассказать другим» (Treizise 2008: 24). Вместе с тем интервьюируемый является представителем особого сообщества и делится в интервью определенными взглядами и оценками, которые выражают его знания и интерпретации прошлого (и настоящего). В связи с этим историк Рональд Гриль предупреждает исследователей, работающих в рамках методов устной истории, что «интервьюируемые – предъясители одной определенной культуры, и поэтому они имеют собственную точку зрения на прошлое» (Grele 1998: 48). Вслед за ним Луиза Пассерини утверждает, что устные истории не только дают богатство информации о прошлом, но и являются отражением определенной культуры, позволяя понимать, как индивидуум мыслит свое место в обществе (Passerini 1998:54)⁴.

Проводя интервью в постсоветском Санкт-Петербурге о событиях, произошедших в советский период, я должна была ознакомиться с теми элементами публичного дискурса, которые оказывали влияние на сознание и жизнь моих информантов в советском обществе. Весьма важными для анализа оказываются ограничения публичного дискурса, действовавшие в советский период, когда тех, кто осмеливался критиковать партию, социальную или экономическую политику, заставляли молчать. В то же время в ответ на эти ограничения развивалась вторая сфера интересубъективной коммуникации, где можно было обсуждать значимые темы в приватной обстановке⁵.

Кроме идеологических норм и политики партии люди должны были учитывать также более универсальные представления о том, что такое «приватное» и

³ Ульрике Юрайт и Карин Орт подробно обсуждают личные отношения, складывающиеся в интервью-беседах немецких исследователей с жертвами нацистского преследования (Jureit and Orth 1994: 157 и сл.).

⁴ Такой подход к анализу интервью и нарративов соответствует аналогичным моделям исследователей биографических репрезентаций и социальной памяти, в том числе: Хальбвакс 2007; Rosenthal 2005.

⁵ Существование различных сфер коммуникации в советском обществе стало предметом множества исследований, в том числе – социологических. Авторы многих из них подчеркивают соответствие этих сфер легитимным и нелегитимным дискурсам. См., например: Oswald and Voronkov 2004; ряд статей в сборниках Rittersporn, Rolf, and Behrends 2003 и Weintraub and Kumar 1997; а также Shlapentokh 1989.

«публичное». С точки зрения социальной теории, оба эти термина – сложные, неоднозначные понятия. Стараясь примирить различные определения и концепции, философ Джин Бетке Элштайн определяет публичное и приватное как «фундаментальные представления, которые служат установлению структур и связности всех сфер жизни, а также всех людей, живущих в мире; они помогают создать моральную среду» для действий индивидов или групп людей (Elshtain 1997: 168). В частности, нормы и пределы этой среды регулируют отношение к убийствам, сексуальной сфере, семейной жизни и политическим обязанностям. Эти нормы «связаны с набором ассоциаций и указаний, а также с другими фундаментальными представлениями и сущностями: например, о природе и культуре, о мужественном и женственном» (там же). Вследствие всего этого они оказывают влияние на взаимоотношения людей.

Я полагаю, что анализ действия такой моральной среды должен обязательно осуществляться при работе с нарративом, в частности, для того, чтобы понять его возможные пределы и то, как люди определяют свое местоположение в рамках публичного дискурса. Далее я попытаюсь выяснить роль этих рамок – то есть советской политики и морали, – чтобы понять, почему Евгения и Белла предпочли умолчать о некоторых эпизодах своей жизни. Здесь я опираюсь на опыт исследовательницы Паскаль Бос, предлагающей проследить в интервью социализацию информантов, чтобы понимать, как они, гендерные субъекты, представляют себя и свой жизненный опыт (Bos 2003: 33).

Как показывают материалы моего исследования, информанты мужского и женского пола, обладающие разными гендерными идентичностями, пользуются различными способами представления информации о своей жизни. К тому же о сексуальности в мирное и в военное время тоже рассказывают по-разному. Я предлагаю учитывать такое разнообразие позиций, субъектностей, контекстов, которые неизбежно влияют на содержание интервью; выяснять, как все это определяет способности информантов говорить о своей жизни. В конечном счете через такой комплексный, многоуровневый анализ раскрываются особенности взаимоотношений между индивидом и обществом, а также выявляется роль, которую играют представления о приватном и публичном в рамках устной истории.

V

Из интервью с Евгенией мы узнаем о борьбе евреев за выживание, о сопротивлении нацистскому геноциду, об участии евреев в подрыве фашистского режима, установленного на оккупированных территориях. По ее рассказам, женщины принимали активное участие во всех этих процессах. Получается, что Евгения надеется реабилитировать право женщин на статус участниц партизанской войны и борьбы против фашизма. Однако, говоря о роли женщин в этой борьбе, она рассказывает также о сложностях и неприятных ситуациях, с которыми они сталкивались. В результате образ благородного партизана оказывается будто бы испорченным. Соответственно, Евгения просит о том, чтобы именно специфические особенности участия женщины в партизанском движении не включались в запись.

Чтобы приблизиться к пониманию сложного столкновения публичного и частного, которое имеет место в этом эпизоде рассказа Евгении, я предлагаю рассмотреть разные варианты объяснения. Я полагаю, что умолчание может являться результатом того, что Евгения в ходе рассказа начинает путаться в многочисленных дискурсах, наслаивающихся друг на друга: в советских дискурсах о войне и о партизанском движении и в дискурсах о сексуальности и морали, которые, к тому же, за последние годы претерпели существенные трансформации.

Евгения просит выключить диктофон, когда речь заходит о том, как советские партизаны-мужчины обращались с женским телом, о том, что они знали и думали о сексуальности, и каковы были их представления о порядочности женщин. Какими, наконец, были представления о нормах сексуальных отношений и о порядочности у самих женщин, состоявших в партизанских отрядах. И сами эти представления, и просьба Евгении исключить фрагменты ее рассказа из нарратива становятся понятными в результате анализа советского дискурса о сексуальности и того, как связан этот дискурс с производством официальной истории.

Прежде всего, правильно было бы предположить, что, исключая некоторые подробности из своего рассказа, Евгения старается сохранить образ партизана как добродетельного, скромного человека, способного на самопожертвование. Если бы мы допустили, что в партизанских отрядах существовали свободные интимные отношения между женщинами и мужчинами или что мужчины отказывались поддерживать беременных женщин и обрекали их на необходимость в одиночку справляться с последствиями сексуальных отношений, мы бы поставили под сомнение право на уважение и почет, которыми до сих пор пользуются бывшие участники партизанских отрядов. Подобные меры по сохранению репутации партизанских отрядов необходимы для того, чтобы включить женский опыт в историю партизанского движения. В противном случае утрачивается образ почетного партизана-мужчины, и вместе с ним исчезают основания для общественного признания партизан вообще. Возможность утверждать порядочность мужчин и женщин – участников партизанских отрядов – возникает только в том случае, если мы полностью отказываемся от обсуждения любых внебрачных отношений. Поэтому в нужном месте мы должны выключить диктофон и оставить рассказ об отношениях между мужчинами и женщинами в партизанских отрядах за пределами публичного дискурса.

Сохранение позитивного образа партизана тесно связано с представлениями о коммунистической морали, широко распространяемыми советской идеологией с начала 1950-х годов вплоть до начала Перестройки и политики гласности. Начиная с хрущевских времен цель установления советского порядка во всех сферах, включая укрепление советской морали, определило большинство мер внутренней политики.

Согласно наблюдениям Деборы Филд, подчинение личных потребностей общественным требованиям было главным принципом «Морального кодекса строителя коммунизма», утвержденного на XXII съезде партии в 1961 году. От советского гражданина ожидалось пренебрежение личными желаниями, что по замыслу власти должно было облегчить трансформацию социалистического общества в коммунистическое, то есть в общество, в котором утопия совершенной жизни лич-

ности должна воплотиться в реальность (Field 2007: 13). Следуя такой логике, исключительной функцией интимных отношений является воспроизводство советского народа. С поздних 1930-х годов советский властный дискурс активно критиковал любые сексуальные практики, не преследующие репродуктивных целей. Стоит напомнить также о принятии в 1936 году закона, запрещающего аборт, в результате чего женское тело стало объектом государственного вмешательства. По словам Анны Темкиной, «от советской женщины любой национальности ожидалось выполнение ролей труженицы и матери [...] все женщины должны были работать на советское государство, рожать советских граждан и воспитывать их в духе лояльности к коммунистической морали» (Темкина 2008: 35). Одним из побочных явлений такой политики стало отсутствие сексуального образования и какой-либо информации, освещающей эту сферу жизни. Соответственно, знание, о котором рассказывает Евгения в интервью, оказалось исключено из официального дискурса ей самой.

В завершение этого тезиса можно сказать, что советский дискурс морали избражал гражданина советского государства как человека, не имеющего каких-либо «недозволенных», неподконтрольных желаний. В книге Михаила Сигова «Любовь, брак и семья в советском обществе...» (1959) по сути говорится, что «для советского человека, для которого сознание и социальная целенаправленность определяет жизнь в целом, не существует неразрешимого конфликта между чувствами и разумом: позы сердца должны быть подконтрольны разуму и долгу» (цит. по Field 2007: 103).

Закономерно то, что из рассказа бывшей партизанки вычеркиваются эпизоды, сообщающие о наличии таких «недозволенных» желаний у партизан-мужчин, либо о внебрачных отношениях, сам факт существования которых противоречил советской пропаганде. Кроме того, рождение детей – оправданная и пропагандируемая функция советской женщины, в то время как участие в партизанском отряде входит в конфликт с растиражированными советскими представлениями о женственности. Просьба Евгении отключить диктофон в таком случае указывает на путаницу в сетке дискурсов о сексуальности и морали, о разделении труда, а также о войне, существующей в ее собственном сознании.

Кроме того, информантка, возможно, осознает конфликт, существующий между ее и моим пониманием истории, предполагает, что наши с ней представления о дискриминации, приватности, о том, что нужно критиковать, могут различаться. Мы с ней исходим из разных представлений о том, в какой степени жизнь отдельных людей связана с общим культурным и политическим порядком (Borland 1991: 64).

Сам по себе нарратив Евгении о личных желаниях, внебрачных отношениях и рождении детей, о борьбе женщин за самоопределение указывает на слабость официального публичного дискурса. Если бы этот дискурс был действительно тотальным и безоговорочно воздействовал бы на принятие личных решений, то ни желания, возникающие в обход идеологической модели советского человека, ни нерегламентированные сексуальные отношения, ни рассказ Евгении о них не были бы возможными. Для того чтобы понять слабости и провалы официального

дискурса в советский и постсоветский периоды, необходимо изучать, как люди осознавали этот дискурс: его содержание и задаваемые им условия жизни. В качестве эксперимента было бы интересно выяснить, мыслит ли Евгения меня, нероссийскую исследовательницу, вне морального дискурса советского и постсоветского общества и, в связи с этим, считает ли она, что мне разрешено узнать о том, что закрыто для тех, кто является участниками и составной частью ее дискурсивного сообщества?

VI

Я предлагаю еще раз вернуться в исходную точку и изучить просьбу моей собеседницы, прочитав ее как попытку обезопасить свой статус. Напомню, что я рассматриваю ее просьбу в контексте наблюдений, зафиксированных в ходе интервью и в процессе последующих наших с ней встреч. Такой подход также позволяет приблизиться к пониманию противоречий между приватными и публичными сферами коммуникации.

После того как на материале этого интервью была написана одна из глав моей книги, я просила Евгению прочитать текст и высказать свои комментарии. Во время обсуждения текста, адресованного широкой аудитории, оказалось, что многие поправки, которые она просила внести, были тесно связаны с конструированием ее собственного воображаемого статуса. Ее стремление представить себя как грамотного человека и ценного члена общества определило ее подход к прочтению и корректированию текста, написанного мною о ней. В результате интенсивных обсуждений отдельных понятий, терминов и целых предложений, стало ясно, что ее желание производить впечатление независимого, самостоятельного и уважаемого члена общества имело для нее большое значение. Очень многие эпизоды и оценки были вычеркнуты Евгенией и не вошли в книгу. Мне хотелось бы надеяться, что этот анализ «вычеркнутых» моментов и моего спора с Евгенией по поводу их ценности восполнит пробелы.

В главе книги, посвященной Евгении, я использовала материалы нескольких интервью, которые я проводила с ней периодически в течение нескольких лет. Мне хотелось дать возможность читателям услышать «голос» моей собеседницы, и я включала в текст пространные цитаты из интервью. Именно эти эпизоды подверглись самой тщательной правке Евгении. При этом, обсуждая исправленный текст, она неоднократно расстроено замечала: «Люди будут думать, что я неправильно говорю». Она полагала, что такая репрезентация ее в цитатах, содержащих грамматические неточности и несовершенства, создает образ необразованного человека.

Специфическая цель стратегии устной истории состоит во включении в память достоверного, оригинального голоса маргинализированных групп. Однако моя собеседница была уверена в том, что такой подход портит ее репутацию и не является уместным, поскольку дискредитирует достижения ее самой и всей группы, которую она представляет. Из этого можно заключить, что отношение к рассказу о личной жизни во время интервью отличается от отношения к тексту, публично транслирующему этот рассказ. Высказывания в частной квартире и

цитирование этих высказываний в публикации в форме книги распадаются на то, что можно открывать для публичного обсуждения, и на то, что лучше оставить закрытым. При этом предполагается, что в публичной и приватной сферах разные нормы детерминируют формы артикуляции, включая грамматические правила, выбор слов и представление таких подробностей, как фамилии или даты. Евгения определяет разговорную речь и информацию о личной и интимной жизни человека как элементы приватности и в связи с этим исключает их из публичного отчета о своей жизни.

Подобные манипуляции с текстом можно объяснить социализацией в советском обществе, где, по словам Ингрид Освальд и Виктора Воронкова, «каждый человек имел две совсем разные биографии [...]. Они отличались друг от друга в том, что выбранные факты, интерпретации и виды презентации, а также публичная сфера, в которой человек должен выступать, влияли на автобиографический отчет» (Oswald and Voronkov 2004: 100). Нормы обычной речи были во многом детерминированы идеологической (партийной) риторикой. Как отмечает Наталья Козлова в своей работе о дневниках и письмах советского периода, для обычного советского человека следование средствам и правилам нормативных речевых практик означало соблюдение установленного порядка, в котором «происходит не просто слияние с ролью, но добровольная отдача себя под эгиду антииндивидуалистического принципа, подчинение коллективному и деперсонифицированному порядку, сверхчеловеческому принципу. Партия предлагала коды для расшифровки личного опыта» (Козлова 2005: 274).

Для того чтобы поступить в образовательные учреждения, устроиться на работу или получать какие-либо социальные блага, советские граждане должны были предоставлять в письменном виде собственную автобиографию, в которой указывались данные о родственниках, социальном и этническом происхождении, роде деятельности. Чаще всего эти автобиографии писались так, чтобы не возникало противоречий с официальным ожиданием. Как отмечают Робин Хамфри, Роберт Миллер и Елена Здравомыслова, такая формальная работа над автобиографиями являлась элементом системы самоконтроля и самоцензуры, которая была определяющей не только в публичной, но и в приватной сфере (Miller, Humphrey, and Zdravomyslova 2002: 18). Авторы утверждают, что люди пользовались официальной версией автобиографии даже в личной жизни, то есть тогда, когда государство было не в состоянии контролировать деятельность индивидуума (там же).

В результате повседневная жизнь и вместе с ней вся информация о личной жизни были переведены в область внесударственного контроля, за пределы публичного рассмотрения (Oswald and Voronkov 2004: 109). Так как публичная презентация определенных сфер и любых отклонений от нормы в советском обществе не была легитимной, можно предположить, что автобиографический рассказ производит, скорее всего, «фасад» личного опыта, а не раскрывает его. Моя работа с Евгенией подтверждает, что необходимость такого фасада твердо укоренилась в ее сознании и продолжает определять мысли и действия и после распада советского государства. Несмотря на открытие публичного дискурса, появление возможности критиковать, например, официальную версию истории Великой Оте-

чественной войны, соответствующие ограничения продолжают влиять как на самопрезентацию, так и на представление событий жизни.

Соображения о том, что считается «неуместным» для публичного внимания, позволяют мне возвратиться к размышлениям о том, какую роль играет мораль, понимаемая как набор культурных ценностей и норм, регулирующих социальное поведение, в самопрезентации моей собеседницы. В рассказе Евгения представляет себя как сторонницу морального дискурса: она не вступает в добрачные половые отношения и в результате сохраняет статус «порядочной женщины» в чрезвычайных условиях войны и жизни в партизанском отряде. К тому же она оказывается женщиной, умеющей самостоятельно принимать разного рода решения относительно своей жизни даже в условиях экстремальной опасности. Чтобы ее жизненный опыт был вписан в официальную историю, она не может афишировать личные привязанности. Кроме того, как человек советской формации она должна жертвовать личными желаниями ради общественных целей (Field 2007: 49) – в данном случае, ради победы над фашизмом.

Подчеркивая, что она не имела ничего общего с женщинами, которые, будучи членами партизанского отряда, вступали в неформальные сексуальные отношения, Евгения еще раз утверждает свою субъектность (*agency*)⁶. Этот отказ, тем не менее, успешен только в том случае, когда он абсолютен, то есть когда раз и навсегда исключается возможность «недозволенных» отношений. Таким образом, вычеркивание из нарратива рассказа об ограничениях свободы женщин в партизанских отрядах является способом сохранить представления о свободе выбора в условиях, в которых зачастую всякая свобода была крайне ограничена – сначала во время войны, а потом и в послевоенный период реконструкции страны и советского общества.

Заявление Беллы о том, что она на протяжении десятилетий не считала возможным открыто говорить о времени, проведенном в партизанском отряде, является мощным напоминанием о том, что такие «вычеркивания» из рассказа, из памяти всегда имеют последствия. Молчание Беллы было результатом занижения роли женщин в партизанских отрядах, которое имело место в официальной версии памяти о войне (а согласно интервью, и в реальности) и с которым она не хотела иметь ничего общего. Она боялась негативных оценок, которые вызывали у нее чувство стыда, несмотря на то, что она никогда не совершала того, чего стоило стыдиться. Впоследствии она предпочла скрыть свой опыт участия в партизанском отряде, чтобы не провоцировать никаких оценок этого этапа своей жизни.

Именно это молчание, результат публичного непризнания бывших женщин-партизан, помешало мне в моем исследовании создать целостный, непрерывный исторический отчет⁷. Молчание женщин длилось десятилетиями и, вероятно, было

⁶ Мой анализ опирается на результаты исследования Камалы Висвешваран, обращающей внимание на «непамять» о тех или иных моментах у женщин, которые участвовали в движении национального освобождения в Индии (Visveswaran 1994: 52).

⁷ О сексуальном насилии, стыде и памяти см. Ringelheim 1985; Kaplan 2002.

выгодно по многим причинам. Замалчивание опыта женщин не только искажало историю их участия в войне и партизанском движении (Fieseler 2002: 18) – оно не давало нам узнать и о случаях сексуального насилия и надругательства, о сложностях, испытываемых женщинами в пространстве, где однозначно доминируют мужчины.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В статье обсуждается проблема этики качественных исследований, которая пока не нашла разрешения. Акцентируя свое внимание на противоречиях исследовательского процесса, я пытаюсь понять, как и почему системные условия порождают систематическую маргинализацию людей и целых социальных групп. Кроме того, я пытаюсь выяснить, откуда берутся запреты и ограничения в сознании людей. Анализ пересечения этих двух процессов является неременным условием для раскрытия маргинализованной истории.

Примерив на себя роль исследовательницы, которая стремится критиковать идеологические и дискурсивные структуры, способствующие маргинализации, я представила обзор фрагментов, которые моя информантка не захотела включить в «официальный» текст интервью. Избирательное отношение моей собеседницы к нарративу содержит ряд противоречий, которые и привлекли мое внимание. Прежде всего, это произошло потому, что одной из центральных задач моего исследования является разоблачение социальных структур, способствующих замалчиванию и воспроизводству патриархального порядка. Стремление исследователя выявить механизмы систематического подчинения женщин и женской сексуальности разбивается о неумение информантов говорить на темы, которые считались для них закрытыми на протяжении всей жизни. Представления информантов о свободе и личном выборе сильно скорректированы социально-культурными детерминантами, имеющими в советском обществе ярко выраженную специфику. Желание разоблачения репрессивных структурных условий также разбивается о позицию информантки, привыкшей добиваться в жизни своего – в том числе в ходе интервью и в процессе работы над публичной версией текста.

Анализ размышлений одного человека о роли гендера в условиях войны раскрывает пересечение частных и публичных норм в речевых практиках, а также влияние властных отношений, действующих в обществе, на индивидуальные представления об этих сферах. Я предполагаю, что выбор «правильного образа истории» является важнейшим результатом действия властных структур. Попросив исключить из нарратива собственный рассказ о неформальных интимных отношениях, которые считались «недозволенными», моя собеседница продемонстрировала, как персонифицируется сложный процесс маргинализации, основной подавляющей силой в котором является властный дискурс.

В заключение мне хотелось бы упомянуть идею Мариэн Хирш и Валери Смит о том, что конструирование «культурной памяти всегда связано с распределением власти и притязаниями на власть» (Hirsch and Smith 2002: 6). Мои размышления об ограничениях рассказа и особенностях речевых средств, используемых информантом, раскрывают процесс воспроизводства знания, укорененного не только в

особом идеологическом контексте, но и в универсальных системах властных отношений. Если образ и почитание советского партизана, гендерное распределение труда и коммунистическая мораль являются специфическими чертами советского общества, то маргинализацию женских нарративов о жизненном опыте и опыте сексуального насилия можно обнаружить и в других обществах. Как я показала в статье, подобное подавление женской истории основано на представлениях о приватном и публичном, связывающих между собой гендерный жизненный опыт, повседневную жизнь, систему морали и речевые практики. Изучение этой сложной системы представлений является задачей качественных исследований. В особенности это является задачей исследователей, использующих метод устной истории для того, чтобы раскрыть процессы маргинализации на личном и социальном уровнях. Эта задача требует анализа, рассматривающего разные уровни и элементы личного опыта и способностей интерпретации событий собственной жизни в определенном контексте.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Алексиевич, Светлана. 1988. *У войны – не женское лицо*. М.: Правда.
- Козлова, Наталья. 2005. *Советские люди: сцены из истории*. М.: Европа.
- Редлих, Шимон. 2000. Еврейский антифашистский комитет в СССР и антисемитская политика советских властей в послевоенные годы // *Холокост – сопротивление – возрождение: Еврейский народ в годы ВОВ и послевоенный период. 1939-1948 гг.* / сост. Илья Альтман. М.: Ковчег. С. 213–261.
- Сигов, Михаил. 1959. *Любовь, брак и семья в советском обществе: В помощь лектору, выступающему перед молодежью*. М.: Москва.
- Темкина, Анна. 2008. *Сексуальная жизнь женщины: между подчинением и свободой*. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге.
- Хальбвакс, Морис. 2007 (1925). *Социальные рамки памяти* / Пер. с фр. Сергея Зенкина. М.: Новое издательство.
- Чарный, Семен. 1997. Советский государственный антисемитизм // *Вестник Еврейского университета в Москве* № 2(15). С. 76–81.
- Altshuler, Mordechai. 2002. Jewish Holocaust Commemoration Activity in the USSR under Stalin. *Yad Vashem Studies XXX* (2002):271–296.
- Borland, Katherine. 1991. "That's Not What I Said": Interpretive Conflict in Oral Narrative Research. Pp. 63–76 in: *Women's Words*. Edited by Sherna Berger Gluck and Daphne Patai. New York: Routledge.
- Bos, Pascale Rachel. 2003. Women and the Holocaust: Analyzing Gender Difference. Pp. 23–52 in: *Experience and Expression*. Edited by Elizabeth Baer and Myrna Goldenberg. Detroit: Wayne State University Press.
- Edele, Mark. 2008. *Soviet Veterans of World War II: A Popular Movement in an Authoritarian Society*. New York: Oxford University Press.
- Elshtain, Jean Bethke. 1997. The Displacement of Politics. Pp. 16–181 in: *Public and Private in Thought and Practice: Perspectives on a Grand Dichotomy*. Edited by Jeff Weintraub and Krishan Kumar. Chicago; London: The University of Chicago Press.
- Field, Deborah A. 2007. *Private Life and Communist Morality in Khrushchev's Russia*. New York: Peter Lang Publishing.
- Fieseler, Beate. 2002. Der Krieg der Frauen: Die ungeschriebene Geschichte. Pp. 11–20 in: *Mascha + Nina + Katjuscha: Frauen in der Roten Armee 1941-1945. Katalog zur Ausstellung 15.11.2002–23.02.2003*. Edited by Deutsch-Russisches Museum Berlin Karlshorst. Berlin: Museum Karlshorst.

- Gitelman, Zvi. 1997. Politics and the Historiography of the Holocaust in the Soviet Union. Pp. 14–42 in: *Bitter Legacy: Confronting the Holocaust in the USSR*. Edited by Zvi Gitelman. Bloomington; Indianapolis: Indiana University Press.
- Goldenberg, Myrna. 1990. Different Horrors, Same Hell: Women Remembering the Holocaust. Pp. 150–166 in: *Thinking the Unthinkable: Meanings of the Holocaust*. Edited by Roger Gottlieb. New York: Paulist Press.
- Grele, Ronald. 1998 (1975). Movement Without an Aim. Methodological and Theoretical Problems in Oral History. Pp. 38–52 in: *The Oral History Reader*. Edited by Robert Perks and Alistair Thomson.
- Halbwachs, Maurice. 1985. *Das Gedächtnis und seine sozialen Bedingungen*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Hedgpeeth, Sonja M. and Rochelle G. Sidel (Eds.). 2010. *Sexual Violence against Jewish Women during the Holocaust*. Lebanon: Brandeis University Press.
- Hirsch, Marianne, and Valerie Smith. 2002. Feminism and Cultural Memory: An Introduction. *Signs* 28(1):1–19.
- Jureit, Ulrike, und Karin Orth. 1994. *Überlebensgeschichten: Gespräche mit Überlebenden des KZ Neuengamme*. Hamburg: Dölling & Galitz.
- Kaplan, Temma. 2002. Acts of Testimony: Reversing the Shame and Gendering the Memory. *Signs* 28(1):179–199.
- Katz, Esther, and Joan Ringelheim (Eds.). 1983. *Proceedings of the Conference: Women Surviving: The Holocaust*. New York: Institute for Research in History.
- Lentin, Ronit (Ed.). 1997. *Gender and Catastrophe*. London: Zed Books.
- Miller, Robert, Robin Humphrey, and Elena Zdravomyslova. 2003. Introduction: Biographical Research and Historical Watersheds. Pp. 1–26 in: *Biographical Research in Eastern Europe: Altered Lives and Broken Biographies*. Edited by Robin Humphrey Robert Miller, and Elena Zdravomyslova. Aldershot: Ashgate.
- Oswald, Ingrid, and Viktor Voronkov. 2004. The Public-Private Sphere in Soviet and Post-Soviet Society: Perception and Dynamics of 'Public' and 'Private' in Contemporary Russia. *European Societies* 6(1):97–117.
- Passerini, Luisa. 1998 (1979). Work ideology and consensus under Italian fascism. Pp. 53–62 in: *The Oral History Reader*. Edited by Robert Perks and Alistair Thomson.
- Patai, Daphne. 1991. U.S. Academics and Third World Women: Is Ethical Research Possible? Pp. 137–154 in: *Women's Words: The Feminist Practice of Oral History*. Edited by Sherna Berger Gluck and Daphne Patai. New York: Routledge.
- Ringelheim, Joan. 1985. Women and the Holocaust: A reconsideration of research. *Signs* 10(4):741–761.
- Rittersporn, Gabor Tamas, Malte Rolf and Jan C. Behrends (Eds.). 2003. *Sphären von Öffentlichkeit in Gesellschaften sowjetischen Typs: Zwischen partei-staatlicher Selbstinszenierung und kirchlichen Gegenwelten*. Frankfurt am Main: Lang.
- Rittner, Carol and John K. Roth (Eds.). 1993. *Different Voices: Women and the Holocaust*. New York: Paragon House.
- Rosenthal, Gabriele. 2005. Die Biographie im Kontext der Familien und Gesellschaftsgeschichte. Pp. 46–64 in: *Biographieforschung im Diskurs*. Edited by Bettina Völter et al. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Scott, Joan. 1991. The evidence of experience. *Critical Inquiry* 17(4):773–797.
- Shlapentokh, Vladimir. 1989. *Public and Private Life of the Soviet People: Changing Values in Post-Stalin Russia*. New York: Oxford University Press.
- Treize, Thomas. 2008. Between History and Psychoanalysis: A Case Study in the Reception of Holocaust Survivor Testimony. *History and Memory* 20(1):7–47.
- Visweswaran, Kamala. 1994. *Fictions of a Feminist Ethnography*. Minneapolis: University of Minnesota Press.

- Walke, Anika. 2007. *Jüdische Partisaninnen. Der verschwiegene Widerstand in der Sowjetunion*. Berlin: Dietz, 190 S.
- Walke, Anika. 2009. Remembering and Recuperation: Memory Work in the Post-Soviet Context. *Zeitgeschichte (Vienna, Austria)* 36(2):67–87.
- Weintraub, Jeff Alan, and Krishan Kumar (Eds.). 1997. *Public and Private in Thought and Practice: Perspectives on a Grand Dichotomy*. Chicago: University of Chicago Press.